

Майя Зорина

A woman with long, wavy blonde hair is the central figure, holding a vintage-style camera to her eye. She is wearing a dark jacket. In the foreground, a hand with a tattoo of a lighthouse on the wrist is also holding a camera, partially obscuring the woman. The background features a cityscape at sunset, with a prominent lighthouse on a distant island. The sky is filled with orange and pink hues, and several seagulls are flying. A paper airplane is visible in the air near the woman's hair. The overall mood is romantic and artistic.

Город, где
тонет солнце

Майя Зорина

Город, где тонет солнце

«Автор»

2026

Зорина М.

Город, где тонет солнце / М. Зорина — «Автор», 2026

Год назад море забрало у Веры отца — и она возненавидела воду, город у залива и весь мир заодно. Новая школа встретила травлей: дохлой рыбой в шкафчике, записками «утопленница», холодными спинами одноклассников. Заступился только один — Марк Гайдт, самый опасный парень города. Хулиган, которого все боятся: гоняет по ночам, лазает по крышам, живёт один. За его дерзостью Вера разглядела мальчика, потерявшего покой после ухода матери. А он разглядел в ней ту, что снова умеет светиться. Их первая любовь вспыхнула наперекор всему — травле, запретам, страху. Марк научил Веру не бояться моря и обещал увезти её туда, где нет штормов. Обещал вернуться. Но город у воды никого не отпускает просто так. И за каждый светлый день выставляет счёт. Молодёжный роман о первой любви, буллинге и потере — из тех, что читают за одну ночь и плачут навзрыд. Из осколков разбитого сердца, оказывается, можно сложить крылья.

© Зорина М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Воруешь чужое небо	7
Глава 2. Рыбья дочь	12
Глава 3. Теперь ты моя должница	17
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Майя Зорина

Город, где тонет солнце

Пролог

В тот день море впервые отдало мне что-то, вместо того чтобы забрать.

Я стояла на самом краю косы, там, где старый маяк вращается в небо ржавым гвоздём, и держала в руках отцовскую камеру. Солёный ветер бил в лицо, трепал волосы, рвал из рук лёгкую куртку. Камера — отцовская, та самая, что потом сохранит тебя навсегда, — щёлкала затвором. Щёлк. Щёлк. Я снимала море. То самое, которого когда-то боялась до дрожи, а теперь — нет. Высокое небо, синяя вода, белая полоса прибоя, которая накатывала и откатывала, накатывала и откатывала, будто море дышало.

Говорят, у каждого города есть своё лицо. У этого было лицо человека, который смотрит на тебя и молчит, потому что знает что-то, чего ты ещё не знаешь.

Я приехала сюда в конце августа, чужая, злая, с дырой в груди размером с отца. Я ненавидела этот город за то, что он стоит у воды. Я ненавидела воду за то, что она забрала и не вернула. Я думала, что хуже уже не будет, — и в этом была моя главная ошибка, потому что хуже всегда есть куда.

А потом появился ты.

Я закрываю глаза и вижу тебя так ясно, будто ты стоишь рядом, — высокий, в мокрой куртке, с этим своим шрамом через бровь и серыми глазами цвета штормового моря. Ты смеёшься надо мной, как смеялся в первый день, задрав голову с крыши: «Эй, синева. Ты тоже ворует чужое небо?»

Я тогда не ответила. Я вообще долго не отвечала тебе, потому что разучилась говорить с живыми. Я умела говорить только с теми, кого уже нет.

Ты научил меня заново.

— Я научу тебя не бояться моря, — сказал ты однажды на этом самом маяке, когда внизу ревел залив, а я вцепилась в твою руку так, что побелели костяшки. — Слышишь? Не бойся. Море — оно как человек. Если перестанешь его бояться, оно перестанет тебя пугать.

Ты врал. Море не перестало. Море только притворялось.

Ветер вырвал у меня из пальцев бумажный самолётик — последний, который я успела сложить из страницы тетради, исписанной твоей рукой. Я смотрела, как он взлетает, кувыркается, ловит восходящий поток — и не падает в воду, а уходит вверх, против ветра, выше, выше, к рваным облакам.

«Чем сильнее встречный ветер, тем выше взлёт», — сказал бы ты.

Я стояла на краю света, на ржавом гвозде в сером небе, и больше не отворачивалась от моря. Я смотрела ему прямо в лицо. И море смотрело на меня в ответ — огромное, древнее, равнодушное — и впервые ничего не забирало. Оно отдавало. Оно возвращало мне меня — ту, которой я была до того, как стала бояться.

Я тогда ещё не знала, что оно заберёт взамен.

Если ты читаешь это — а я почему-то верю, что ты читаешь, оттуда, где небо всегда против ветра, — знай: я сдержала слово. Я перестала бояться.

Это самая дорогая и самая жестокая вещь, которой меня научила любовь.

Меня зовут Вера. И это история о городе, где тонет солнце, и о мальчике, который однажды не дал ему утонуть во мне.

Только сначала надо вернуться в конец августа. Туда, где я ещё ничего не знала. Где ты был ещё жив, и небо было просто небом, а море — просто водой за окном чужой квартиры. Туда, где всё началось.

Глава 1. Ворует чужое небо

Окна новой квартиры смотрели на воду.

Я поняла это сразу, как только мы переступили порог, — раньше, чем разглядела облупленные обои, раньше, чем почувствовала чужой запах прежних жильцов. Я просто шагнула в пустую комнату, которой предстояло стать моей, подошла к окну — и там, за рядами серых панельных домов, за крапом порта и ниткой моста, лежало оно. Серо-стальное, плоское, бесконечное. Залив.

Мама встала рядом и сказала тихо, будто извиняясь:

— Красиво же, Вер. Море.

Я не ответила. Я смотрела на воду и думала о том, что год назад другое море, в другом городе, забрало моего отца и не вернуло даже тела. И вот теперь я буду просыпаться и засыпать лицом к этой твари. Каждый день. Будто меня нарочно поселили напротив того, что я больше всего на свете ненавижу.

— Вид на залив — это плюс к стоимости, — сказал из коридора Виктор и постучал костяшками по стене, проверяя, не пустотелая ли. Он всё проверял. Стены, краны, людей, чеки в магазине. — Считай, повезло.

Повезло. Я сжала ремень камеры так, что он впился в ладонь.

Камера была отцовская — старый плёночный «Зенит», тяжёлый, как кирпич, с поцарапанным объективом. Папа учил меня снимать на неё, когда мне было десять. «Смотри, Веруня, — говорил он, прищурив один глаз и наведя объектив на меня. — Фотография — это не про то, что видно. Это про свет. Поймаешь свет — поймаешь всё». А ещё он складывал мне из бумаги самолётики. Из чего угодно — из салфетки в кафе, из старого билета, из странички блокнота. Запускал в окно и говорил: «Видишь, Веруня? Он же не падает. Чем сильнее в него дует, тем выше он лезет. Вот и мы с тобой так. Подрастёшь — улетим отсюда, поглядим мир. Ты да я».

Мы никуда не улетели. Море оказалось быстрее.

После похорон я забрала камеру себе. Мама хотела убрать её на антресоль, к остальным папиным вещам, которые она спешно, будто стыдясь, сложила в коробки и заклеила скотчем. Я не дала. Камера была единственным, что от него осталось и что не пахло больницей и чёрным крепком. Она пахла папой — табаком, кожей чехла и немного машинным маслом. Я не снимала уже год. Но камеру носила с собой везде. Так носят с собой ключ от двери, которой больше нет.

В тот первый вечер я распаковала только одну коробку — свою. Книги, свитер, в котором ещё держался запах нашего старого дома, пачка старых фотографий и тетрадь, на последней странице которой рукой отца был записан рецепт его дурацких блинов с корицей. Я положила тетрадь под подушку. С ней было легче засыпать в комнате, где даже тени были чужие.

Ужинать в тот вечер сели втроём, за столом, втиснутым между нераспакованными коробками. Виктор разложил на коленях салфетку, уголок к уголку, и оглядел кухню так, будто уже прикидывал, что здесь переделать.

— Значит, так, — сказал он, и я поняла, что сейчас будут правила. У Виктора всё началось с «значит, так». — Раз уж мы теперь одна семья и живём вместе, давайте сразу договоримся. В доме порядок. Вещи на местах, ужин в семь. И со двором этим я ещё разберусь — контингент там, смотрю, специфический.

Мама кивала. Она всегда кивала. Раньше, при папе, она смеялась, спорила, могла запустить в него полотенцем за неудачную шутку — а теперь только кивала, будто из неё вынули какую-то пружину.

— Вера, тебя тоже касается, — добавил Виктор. — Понимаю, возраст и всё такое. Но фотоаппарат свой за стол не таскай. Не музей.

Я опустила руку на камеру, лежавшую у меня на коленях. Промолчала. На стене напротив тикали Викторовы часы — он повесил их первым делом, ещё до того, как мы разобрали постели, — тикали так громко, что хотелось их снять и утопить. Утопить. Я поймала себя на этом слове и сжала зубы.

— Папа всегда брал камеру с собой, — сказала я тихо. Не знаю зачем. Может, просто чтобы проверить, жива ли ещё мама. — Даже в рейс. Говорил, без неё не видит.

За столом стало тихо. Виктор перестал жевать.

— Ир, — сказал он негромко, не мне, а маме. — Мы же договаривались.

И мама — моя мама, которая когда-то могла переспорить кого угодно, — ответила, не поднимая глаз от тарелки:

— Вера. Не за столом. Пожалуйста.

Вот и всё. Не «расскажи про папу». Не «я тоже скучаю». А «не за столом» — будто отец был неприличной темой, пятном на скатерти, которое надо прикрыть тарелкой, чтобы гость не заметил. Я встала, сказала «спасибо, я наелась», хотя не съела ни кусочка, и ушла к себе. И полночи лежала, прижимая к груди тетрадь с рецептом блинов, и спрашивала себя об одном, от чего не было спасения: кто ей теперь важнее — я или он?

Мы переехали в Калининград из-за Виктора. Маму с ним свёл случай и, как я подозревала, страх остаться одной — они поженились через семь месяцев после того, как папу объявили погибшим. Семь. Я считала. Виктору предложили хорошую должность в порту, мама уцепилась за этот переезд обеими руками, и я понимала почему: в нашем старом городе всё напоминало об отце. Каждая лавочка, каждый двор. Здесь не напоминало ничто. Здесь меня просто не было до этого августа. Иногда я думала, что мама и меня бы заклеила скотчем и убрала на антресоль, если бы могла, — слишком уж я была похожа на него. Те же серо-зелёные глаза, та же привычка шуриться.

Город встретил меня дождём и запахом чего-то сладко-гнилого — то ли водорослей, то ли старой листвы. Калининград оказался странным, разломанным надвое. Река делила его на две части, и части были разные, будто их склеили из двух чужих городов. На правом берегу стояли старые дома из тёмно-красного кирпича, с острыми черепичными крышами и круглыми башенками, — наследство тех, кто жил здесь до нас, давно, под другим флагом и другим именем города. А на левом, где поселились мы, тянулись бесконечные панельки, серые, как вода, с одинаковыми балконами, увешанными чужим бельём.

Между двумя берегами горбатился разводной мост. По вечерам, если повезёт, можно было увидеть, как он медленно поднимает крылья, пропуская корабль, — и тогда две половины города ненадолго переставали быть единым целым. Я сразу почувствовала себя как этот мост. Разведённый надвое. Между той Верой, у которой был отец, и этой — у которой осталась только его камера и тетрадь с рецептом блинов.

Школа добила меня окончательно.

Первое сентября в чужой школе — это особый вид пытки, который стоило бы запретить какой-нибудь конвенцией. Все друг друга знают. У всех есть свои места, свои шутки, своя история длиной в десять лет. А тыходишь в класс посреди этой истории, как опечатка, и тридцать пар глаз поворачиваются к тебе с одинаковым выражением: «а это ещё кто?».

— Знакомьтесь, у нас новенькая, — сказала классная, Тамара Петровна, женщина с усталым лицом и брошкой в виде якоря. — Снегирёва Вера. Прошу любить и жаловать. Вера, садись пока вон туда, к окну.

Конечно, к окну. Конечно, лицом к заливу. Я готова была рассмеяться, если бы умела ещё смеяться.

Я шла к парте под взглядами и складывала в голове кадры — по привычке, чтобы не думать о том, как горят щёки. Девочка в первом ряду, красивая до неприличия, с каштановой волной волос и идеальными бровями, смотрела на меня оценивающе, как смотрят на вещь в

магазине, прикидывая, стоит она своих денег или нет. Я потом узнаю, что её зовут Кристина и что в этой школе она — солнце, вокруг которого всё вращается. Рядом с ней развалился парень — светлый, гладкий, с улыбкой человека, которому ни разу в жизни ни в чём не отказывали. Стас.

Он один не отвернулся, когда я прошла мимо, — наоборот, проводил меня взглядом и чуть наклонил голову, будто говоря: «интересно». Я не знала тогда, что этот наклон головы обойдётся мне очень дорого.

Села я рядом с тихой девочкой, которая единственная не разглядывала меня. Она читала книгу, спрятав её под партой, и в наушниках у неё что-то едва слышно играло — мелодичное, корейское. У неё было спокойное круглое лицо и чёрные прямые волосы.

— Дина, — сказала она, не отрываясь от книги, когда я села. И добавила тише, так, что услышала только я: — Не садись больше так близко к Кристине. Это её свет. Чужим в нём холодно.

Я не поняла тогда, что это было предупреждение. Я приняла это за грубость и отвернулась к окну.

К обеду я уже неплохо читала эту школу — фотографии умеют читать кадр, а класс, оказалось, тоже кадр, просто живой. В столовой всё стояло по местам, как на расчерченной схеме. В центре, за лучшим столом у окна, царила Кристина со свитой — две девочки, ловившие каждое её слово, и стайка мальчишек, среди которых выделялся Стас. Их стол был как тот самый свет, о котором говорила Дина: тёплый, яркий, и чем дальше от него, тем холоднее.

По краям сидели все остальные — по двое, по трое, кто с кем дружит. А была ещё невидимая зона, куда никто не садился по своей воле: дальний угол у мусорных баков. Там, спиной ко всем, обедала Дина. Одна. И по тому, как привычно, без обиды, она там устроилась с книжкой, я поняла, что это её место давно и что когда-то её туда посадили силой, а теперь она просто там живёт.

Я взяла поднос и постояла секунду на пороге — как стоят на краю воды, прежде чем зайти. А потом пошла и села к Дине, в дальний угол, спиной ко всем. Не из доброты. Просто там было единственное место, где на меня никто не смотрел.

— Зря, — сказала Дина, не поднимая глаз от книги. — Теперь ты официально из угла. Отсюда не возвращаются.

— Я и не собиралась возвращаться, — ответила я.

Она подняла взгляд. Посмотрела на меня внимательно, будто только теперь увидела, и едва заметно улыбнулась — первая живая улыбка, обращённая ко мне в этом городе.

На большой перемене всё и случилось — то, что потом запустит лавину, хотя тогда этого ещё не понимала. Я стояла у окна в коридоре, и ко мне подошёл Стас. Просто подошёл, прислонился плечом к подоконнику и улыбнулся своей фирменной улыбкой.

— Снегирёва, да? — сказал он. — А ты ничего так. Откуда приехала? Скучаешь, наверное. Хочешь, покажу город? Я тут всё знаю.

Я хотела сказать, что не хочу. Но не успела. Потому что увидела, как в другом конце коридора Кристина обернулась на нас — на меня и Стаса у окна, — и её красивое лицо на секунду стало совсем другим. Жёстким. Будто кто-то выключил в нём свет и включил что-то холодное.

— Спасибо, не надо, — сказала я Стасу и ушла.

Я думала, что этим всё и кончится. Боже, какой же наивной я была.

Весь первый учебный день я смотрела на воду и почти не слушала. Учителя говорили про ЕГЭ, про ответственный год, про «вы уже взрослые». Я думала: знали бы вы, какая я взрослая. Я хоронила отца в закрытом гробу, потому что хоронить было нечего, — только память и фуражку. Куда уж взрослее.

После уроков я не пошла домой. Дома был Виктор с его постукиванием по стенам и мама с её виноватыми глазами, и я не могла. Я бродила по чужому городу, пока не стемнело. Спустилась к набережной, где старый дядька в драповом пальто играл на скрипке прохожим — странную, тягучую мелодию, от которой щемило в груди. Перед ним лежал открытый футляр с горсткой монет, а в петлице торчал бумажный осенний лист. Я постояла, послушала. Он не открыл глаз, но, когда я уходила, сказал вслед, не переставая играть:

— У тебя лицо человека, который что-то потерял в воде, девочка.

Я застыла. Обернулась. Но он играл себе дальше, будто и не говорил ничего, и я решила, что мне померещилось. Только мелодия ещё долго шла за мной по пустующим улицам, цепкая, как репей.

Домой я вернулась уже в темноте. И не смогла зайти в квартиру — там, за дверью, работал телевизор и пахло Викторовой жареной картошкой, и всё это было такое чужое, такое не моё, что у меня перехватило горло. Вместо того чтобы открыть дверь, я полезла наверх. По лестнице, мимо последнего этажа, к люку на крышу — он был приоткрыт, замок кто-то давно сорвал.

Я вылезла на плоскую крышу панельки, на гудрон и ветер, и выпрямилась. И задохнулась.

Отсюда был виден весь город сразу — оба берега, и красные крыши справа, и серые коробки слева, и нитка моста, и порт с кранами. А прямо передо мной, над заливом, садилось солнце. Оно было огромное, расплавленное, оранжево-красное, и оно медленно опускалось в воду — будто море заглатывало его, втягивало в себя, гасило. Дорожка света бежала по волнам прямо ко мне, дрожала, рассыпалась. Небо над всем этим горело розовым и пыльно-золотым, а у горизонта уже наливалось той самой штормовой синевой, которую я научилась ненавидеть.

Город, где тонет солнце.

Руки сами подняли камеру. За год я ни разу не сняла ни кадра — а тут приникла глазом к видеоискателю, и мир сжался до прямоугольника света и воды. Палец лёг на спуск. Я поймала выдержку, поймала тот самый момент, когда нижний край солнца коснулся горизонта и расплющился об него...

— Эй.

Голос прилетел сбоку, с соседней крыши, и я чуть не выронила камеру.

На крыше соседнего подъезда, отделённого от моего узким провалом двора, стоял парень. Высокий, в расстёгнутой куртке, которую трепал ветер. Он сидел на самом краю, свесив ноги в пустоту, — так спокойно, будто под ним был не девятый этаж, а лавочка. В руках у него тоже было что-то — телефон или маленькая камера, он, кажется, тоже снимал закат. Лица я толком не разглядела в контровом свете: только тёмный силуэт, широкие плечи и блеск глаз.

Он смотрел на меня. Точнее, на мою камеру.

— Серьёзная пушка, — сказал он, кивнув на «Зенит». В голосе была насмешка, лёгкая и привычная, как у человека, который вообще со всеми так разговаривает. — Плёнка, что ли? Антиквариат.

Я не ответила. Я разучилась отвечать живым, я же говорила.

Он не смутился. Наоборот — оттолкнулся руками, легко поднялся на ноги там, на краю, и от этого движения у меня всё оборвалось внутри. Один шаг — и он бы полетел вниз. Но он не полетел. Он стоял на самом краю крыши, на фоне горящего неба, засунув руки в карманы, и смотрел на меня через провал двора, как через реку.

— Новенькая, да? — сказал он. — Из третьего подъезда. Видел, как вещи заносили.

Солнце за его спиной утонуло окончательно. Двор провалился в синие сумерки, и теперь я видела его чуть лучше — острый подбородок, тёмные волосы, что-то светлое, рассекающее левую бровь. Шрам.

— Слезь оттуда, — вырвалось у меня прежде, чем я успела подумать. Первые слова, которые я сказала живому человеку по своей воле за этот день. — Упадёшь.

Он замер. Потом склонил голову набок, разглядывая меня уже иначе — будто я сказала что-то странное.

— А тебе-то что? — спросил он. И, не дожидаясь ответа, усмехнулся — я скорее угадала эту усмешку, чем увидела. — Не бойся за меня, синева. Я с этим городом давно договорился. Это с тобой он ещё не закончил.

— О чём ты вообще, — сказала я.

— Сама поймёшь. — Он поднял свой телефон, и я услышала тихий щелчок затвора — он снял меня, прямо так, с камерой в руках, на фоне догорающего неба. Я даже возмутиться не успела. — Этот город никого не отпускает просто так. Ты ещё не знаешь, а он уже тебя держит.

Он сунул телефон в карман и пошёл — прямо по парапету, по узкой бетонной кромке высотой в две ладони, отделявшей крышу от девятиэтажной пустоты. Пошёл спокойно, вразвалку, будто по тротуару, заложив руки в карманы. Ветер толкал его в спину, трепал полы куртки. Я перестала дышать. Мне хотелось закричать «стой», но я боялась, что от крика он вздрогнет и сорвётся, — и поэтому просто стояла и смотрела, как чужой парень гуляет над бездной, и сердце колотилось где-то в горле.

Он дошёл до угла, развернулся на пятке — у меня всё оборвалось внутри — и пошёл обратно, так же лениво.

— Тебя как зовут? — спросил он на ходу, не глядя под ноги.

Я не ответила. Не потому, что не хотела, — просто горло свело.

— Не хочешь — не говори. — Он пожал плечами и прыгнул наконец с парапета обратно на крышу, и только тогда я смогла выдохнуть. — Буду звать синева. У тебя глаза такие. Серые с зеленью, как залив перед штормом. Я такой цвет на плёнку год ловлю — не выходит. А у тебя он прямо в глазах.

Я стояла и понимала странную вещь: за этот вечер я сказала этому наглому, лазающему по краям парню больше слов, чем всем живым людям за весь последний год. «Слезь оттуда». «Упадёшь». «О чём ты вообще». Три фразы — а для меня это было почти как заговорить после долгой немоты.

Над заливом зажглась первая звезда. Внизу, во дворе, кто-то звал кошку. Город лежал в синих сумерках — тёмный, чужой, огромный — и впервые с приезда мне не хотелось немедленно из него сбежать.

И, прежде чем я успела хоть что-то сказать, он спросил то, после чего я уже не смогла молчать:

— Так что, синева? Ты тоже ворует чужое небо?

Глава 2. Рыбья дочь

Первую неделю меня просто не замечали — и это была лучшая неделя.

Я приходила к окну, складывала в голове кадры, отвечала у доски ровно настолько, чтобы не привлекать внимания, и уходила в свой угол к Дине. Дина почти не разговаривала, но её молчание было удобным, нечужим — мы сидели рядом, каждая в своей тишине, и эта общая тишина почему-то грела. Иногда она давала мне один наушник, и я слушала её корейские песни, не понимая ни слова, и от этого было спокойно: можно не понимать и всё равно чувствовать.

Я думала, меня оставят в покое. Новенькая, серая мышь у окна, не лезет, не выпендривается. Кого такая может задеть?

Я забыла про наклон головы Стаса.

Он не отставал. То подсядет на физкультуре, то поймает в коридоре, то напишет — он где-то взял мой номер, и от этого было особенно противно. «Чё делаешь?», «Скучаешь по своему мухосранску?», «Пойдём вечером погуляем, покажу город». Я отвечала односложно или не отвечала вовсе, но Стасу, кажется, было всё равно, отвечаю я или нет. Ему был важен сам процесс — как кошке важен не мышонок, а то, что он шевелится.

А Кристина смотрела.

Я ловила на себе её взгляд всё чаще — короткий, оценивающий, с каждым днём всё холоднее. Она ничего не говорила. Она была слишком умна и слишком красива, чтобы опускаться до разговоров. Она просто смотрела, и под этим взглядом у меня по спине бежал холодок, какого не нагонял даже Виктор с его правилами.

— Отшей его, — сказала мне Дина в пятницу, кивнув на Стаса, который как раз втиснулся ко мне на скамейку в раздевалке. — По-настоящему. При всех. Иначе Кристина решит, что ты на него охотишься, и тогда тебе конец.

— Я его не звала, — огрызнулась я. — С какой стати мне оправдываться?

— С такой, что справедливость тут не работает, — спокойно сказала Дина. — Тут работает Кристина.

Я не послушала. Гордость, наверное. Или просто усталость — у меня не было сил воевать ещё и за то, в чём я не виновата. Я думала: само рассосётся.

Само не рассосалось.

В среду на физкультуре класс делили на команды для волейбола, и меня, конечно, не взял никто — капитаны разбирали народ, как разбирают конфеты из вазочки, и я осталась последней, лишней. Физрук махнул рукой: «Снегирёва, к Кристине, у них нечёт». Лучше бы не махал.

Мяч мне не давали. Совсем. Я стояла на своём квадрате, поднимала руки, открывалась — а мяч летел мимо, через меня, будто я стеклянная, будто меня нет. Команда играла вшестером против моей пустоты. А потом, когда я отвернулась и расслабилась, кто-то подал — и мяч прилетел мне прямо в висок, сбоку, со всей дури. В глазах полыхнуло белым, я села на пол, держась за голову, а вокруг засмеялись — негромко, культурно, как смеются над удачной шуткой.

— Ой, прости, не рассчитала, — пропела одна из Кристининых подруг, и по тому, как блеснули её глаза, я поняла: рассчитала. Ещё как рассчитала.

Стас подбежал, присел рядом, сцапал меня за плечо: «Эй, ты как? Дай гляну». И вот это было хуже самого удара — потому что через зал на нас смотрела Кристина. Стояла, отставив бедро, крутила в пальцах прядь волос и улыбалась. Спокойно, почти ласково. В этой улыбке было обещание, от которого мне стало холоднее, чем от мяча в висок.

В понедельник я обнаружила, что меня выкинули из классного чата.

Сначала я даже не поняла. Просто перестали приходить сообщения — про домашку, про замену, про то, что физру перенесли. Я открыла чат, а там вместо привычного списка — «вы покинули группу». Я не покидала. Меня удалили. Я написала старосте, попросила добавить обратно — «ой, наверное, глюк», ответила та и не добавила. Я написала ещё двоим. Прочитали. Промолчали.

Это мелочь, скажете вы. Подумаешь, чат. Но травля никогда не начинается с большого. Она начинается с мелочей, по которым потом и не докажешь ничего: глюк, забыли, случайно. Она копится, как вода за плотиной, по капле, по капле, — а ты ещё не видишь воды, ты видишь только, что вокруг почему-то стало холодно и одиноко.

К среде со мной перестали здороваться. К четвергу — отсаживаться, будто я заразная. На литературе нас разбили на группы, и в мою не захотел никто; Тамара Петровна вздохнула и сунула меня к Дине, и весь класс посмотрел на нас двоих с одинаковым выражением — как на брак, который удобно сложить в один угол, чтоб не мешал.

Я держалась. Я говорила себе: ты хоронила отца. После этого школьный игнор — ерунда, комариный укус. Я почти убедила себя.

А накануне, в четверг, был ещё один разговор — тот, что всё расставил по местам.

Я столкнулась с Кристиной в туалете на третьем этаже. Мыла руки, а она вошла со своими двумя подругами, и те как по команде встали у двери — не выпускать. Кристина подошла к соседней раковине, поправила в зеркале и без того идеальные волосы и заговорила — спокойно, негромко, глядя на моё отражение, а не на меня.

— Ты ведь неглупая, да? — сказала она. — Сразу видно. Поэтому объясню один раз. Стас — мой. Не потому, что он мне нужен. А потому, что здесь всё моё. Школа, этот этаж, эти люди. Ты приехала в мой дом и трогаешь мои вещи.

— Я не трогаю твоего Стаса, — сказала я, и голос почти не дрогнул. — Это он не отстаёт. Ему и скажи.

Кристина улыбнулась моему отражению — красиво, по-кошачьи.

— Вот в этом и беда, — мягко сказала она. — Ты думаешь, дело в справедливости. Кто прав, кто виноват. — Она наконец повернулась ко мне, и улыбка исчезла, будто её стёрли тряпкой. — Дело не в справедливости, рыбка. Дело в том, чей это аквариум. А аквариум мой. И я решаю, кто в нём плавает, а кто всплывает кверху брюхом.

Слово «рыбка» она произнесла с нажимом. И в эту секунду я поняла сразу две вещи. Первое: про дохлую рыбу в моём шкафчике она знала ещё до того, как рыба там появилась. Второе, и страшнее: «утопленница» — это тоже была она. Она знала про папу. Знала — и решила бить именно туда.

— Зачем ты так? — вырвалось у меня. — Я же тебе ничего не сделала.

— А так интереснее, — пожала она плечами, отворачиваясь к зеркалу. — Тебе скучно, мне скучно. Считаю это развлечением. — Она махнула подругам, те отлепились от двери. — Передавай привет своему морю, рыбка. Говорят, у вас это семейное.

Они ушли, смеясь, а я ещё долго стояла, вцепившись в холодный край раковины, и смотрела на себя в мутное зеркало. На бледное лицо, на глаза цвета залива перед штормом. И впервые за этот год почувствовала не горе. Я почувствовала злость — маленькую, твёрдую, как камешек под языком. И за неё, как ни странно, держаться было легче, чем за всё остальное.

А в пятницу был шкафчик.

У нас в школе у каждого был свой узкий металлический шкафчик в рекреации — для сменки, для физкультурной формы. Мой достался от какой-то выпускницы, с полустёртой наклейкой-единорогом на дверце. Я подошла открыть его перед физрой — и ещё не открыв, почувствовала запах. Тяжёлый, гнилостный, рыбный.

Внутри лежала рыба.

Большая, дохлая, серебристо-серая селёдка, уже подвявшая, с мутным неживым глазом. Её положили прямо на мою форму, и форма пропиталась насквозь этой склизкой дрянью. А к дверце изнутри был приклеен сложенный вчетверо листок.

Я развернула его непослушными пальцами. И мир качнулся.

На листке печатными буквами, чтобы не узнать почерк, было написано одно слово: «УТОПЛЕННИЦА».

И ниже, мелко: «Плыви обратно в свой город, рыба дочь. Тут ты никому не нужна».

Рыба дочь.

Я стояла, держала этот листок, и в ушах нарастал гул — тот самый, который накрыл меня год назад, когда в дверь позвонили двое в форме и сняли фуражки, и я ещё ничего не услышала, а уже всё поняла по их лицам. Папа был боцманом. Он ушёл в свой последний рейс осенью, и осенью же шторм перевернул сейнер, и из воды достали не всех. Папу не достали. Море оставило его себе.

«Рыба дочь». «Утопленница». Кто-то узнал. Кто-то взял мою самую глубокую, самую незаживающую рану — и сунул в неё пальцы, и провернул, ради смеха, ради того, чтобы я «плыла обратно».

Я зажмурилась — и на меня опять накатило то утро.

Звонок в дверь в семь часов. Я открыла, как была, в пижаме, заспанная. На пороге двое в форме, фуражки в руках, за их спинами — серый рассвет. Один был совсем молодой и не мог смотреть мне в глаза, разглядывал коврик. Второй, постарше, спросил: «Здесь живёт семья боцмана Снегирёва?» — и по тому, как он запнулся на слове «живёт», я уже всё поняла. В шестнадцать можно ничего не знать про жизнь и всё знать про смерть — мне хватило одной этой запинки.

Шторм в Северной Атлантике. Сейнер лёг на борт за восемь минут. Спасли четверых из одиннадцати. Папу не спасли. «Тело, возможно, не будет обнаружено», — сказали казённо, вежливо, будто извинялись за неудобство. Тело не обнаружили. Мы хоронили фуражку. Я стояла над маленьким гробом, в котором лежали фуражка и горсть земли, и не понимала, как можно закопать в землю человека, которого забрала вода. Это казалось неправильным до тошноты — будто мы все врём, подыгрываем, а на самом деле он там, в холодной серой воде, совсем один.

С того утра я и не могла смотреть на море. Любое. Оно всё было заодно — одна вода, один убийца, просто в разных местах.

Откуда. Откуда они знают про папу?

Я никому здесь не рассказывала. Ни одной живой душе. Даже Дине. Я закопала это так глубоко, что иногда сама притворялась, будто папа просто в долгом рейсе и вот-вот вернётся. А они вытащили это на свет, написали печатными буквами и положили мне на форму вместе с дохлой рыбой.

Не знаю, сколько я так простояла. Рекреация постепенно наполнялась голосами, кто-то прошёл мимо, фыркнул, зажав нос: «фу, чем воняет?» — и я поняла, что сейчас сюда придут все, и увидят, и будут смотреть, как я стою над этой рыбой с этим листком и трясусь. И вот этого я уже не вынесла бы.

Я захлопнула шкафчик. Сунула листок в карман — зачем-то, сама не знаю, может, чтобы они не торжествовали, увидев, что попало в цель. И пошла прочь, не разбирая дороги, мимо удивлённых лиц, на улицу, на воздух, потому что в груди не хватало места ни для воздуха, ни для слёз.

Меня нашла Дина. Конечно, Дина. Она вышла следом, отыскала меня за углом школы, где я стояла, привалившись к холодной кирпичной стене, и хватала ртом воздух.

— Шкафчик, да? — спросила она тихо. Не «что случилось». Сразу — «шкафчик». Будто знала этот сценарий наизусть.

Я кивнула. Достала из кармана листок, протянула ей — руки тряслись. Дина прочитала. Её спокойное лицо не дрогнуло, только в глазах что-то потемнело.

— У меня в седьмом классе была жвачка в волосах и кнопки на стуле, — сказала она ровно, возвращая мне листок. — Полгода. Потом им надоело, нашли кого-то поинтереснее. Это пройдёт, Вера. Они как чайки — поорут над тем, кто упал, и улетят. Главное — не падать у них на глазах.

— Откуда они узнали про моего отца? — выговорила я наконец. — Я никому не говорила. Никому. Даже тебе.

Дина помолчала.

— Город маленький, — сказала она. — Порт. Все всех знают. Твой отчим работает в порту, кто-то слышал, кто-то сложил два и два... Тут не бывает чужих тайн, Вера. Тут только твои, пока ты сама не заметила, что они уже не твои.

Я смотрела на залив — отсюда, из-за школы, тоже была видна полоска воды, проклятая, серая, вездесущая, — и думала, что Дина права в страшном смысле. Этот город действительно держал меня. Залез в карман, вытащил папу и помахал им у меня перед лицом. И я ничего не могла сделать. Совсем ничего.

— А кто? — спросила я. — Кто конкретно это сделал?

— Какая разница, — пожала плечами Дина. — Рука, может, и чья-то. Но голова — Кристины. Ты не отшила Стаса. Теперь ты для неё не человек, ты задача. А Кристина задачи решает до конца.

Дина помолчала, будто решая что-то, потом достала телефон и сунула мне под нос.

— На, смотри. Раз уж ты теперь местная.

На экране был паблик. Чёрная обложка, белые буквы: «Города разбитых сердец». Без имён, без лиц — только истории. Десятки, сотни коротких историй, и все про одно: про любовь, которая здесь случилась и здесь разбилась. «Он провожал меня до моста каждый вечер, а потом уехал и не написал ни разу». «Мы целовались под дождём у старой кирхи, теперь я не могу там ходить». «Она утонула тем летом, а я так и не успел сказать».

— Что это? — спросила я.

— Местное, — пожала плечами Дина. — Кто-то завёл давно, ведёт анонимно, никто не знает кто. Сюда пишут все. Город такой, понимаешь? У моря живёшь — рано или поздно что-нибудь теряешь. Вот и копится. — Она забрала телефон. — Говорят, кто попадёт в этот паблик — у того сердце уже не склеить. Глупость, конечно. Но читать почему-то не страшно. Наоборот. Когда видишь, что не у тебя одной.

Я смотрела на чёрную обложку с белыми буквами и думала, что Дина зря мне это показала. Или, наоборот, не зря. Потому что за всю неделю мне наконец стало чуть легче — от мысли, что в этом городе разбитых сердец моё хотя бы не единственное.

Домой я в тот день шла долго, кружным путём, через набережную, лишь бы не сразу. Скрипача на привычном месте не было — только пустой каменный парапет и чайки, дерущиеся над чем-то на воде. Я достала листок, перечитала ещё раз — «рыбья дочь» — и хотела порвать его в клочки, бросить в реку. Но не смогла. Рука не поднялась бросать хоть что-то в эту воду. Даже это.

Во дворе, у крайнего подъезда, кто-то возился с мотоциклом. Я узнала его не сразу — а узнав, сбавила шаг. Тот самый парень с крыши, со шрамом через бровь. Он сидел на корточках над старым, выдавшим виды мотоциклом, в руке ключ, на скуле — мазок машинного масла. Рядом, привалившись к колесу, дремал хромой рыжий пёс без ошейника.

Парень поднял голову, когда я проходила мимо. Скользнул по мне взглядом — быстрым, цепким, как тогда, на крыше. И я вдруг поняла, что он видит. Не лицо даже — а то, что под лицом: красные глаза, которые я весь день прятала, дрожащие губы, скомканный листок в кулаке. Он не сказал ни слова. Просто смотрел на секунду дольше, чем нужно, и в сером

взгляде не было ни насмешки, ни жалости — что-то третье, чему я тогда не нашла названия. Будто он узнавал во мне знакомое.

— Эй, — окликнул он, когда я почти прошла. Я обернулась. Он кивнул на пса: — Не бойся, не кусается. Он только с виду побитый. — И, помолчав, добавил тише, глядя мне прямо в глаза: — Как и ты, синева.

Я не нашлась что ответить. Ушла в подъезд, чувствуя спиной его взгляд, и сердце впервые за день стучало не от страха.

Маме я ничего не сказала. Как тут скажешь? Мама и без того держалась на ниточке, а Виктор — Виктор бы только обрадовался поводу: «вот, я говорил, контингент, давай я схожу к директору, устрою разбор», и стало бы в сто раз хуже, потому что нет вернее способа добить жертву травли, чем прийти в школу с родителями и сделать её ещё и ябедой.

Я сама. Я всё привыкла сама.

Ночью я не спала. Лежала, смотрела в потолок чужой комнаты, слушала, как за стеной тикают Викторовы часы, и сжимала под подушкой тетрадь с папиным рецептом. «Рыбья дочь». Знаешь, пап, а ведь они правы, думала я. Я и есть рыбья дочь. Дочь человека, которого забрала вода. И теперь вода как будто пометила меня — иди сюда, ты моя, ты из тех, кого я беру.

Я достала из кармана тот листок. «УТОПЛЕННИЦА», печатные буквы. И руки сами стали складывать его — так, как учил папа. Угол к углу, разгладить сгиб ногтем, ещё раз, крылья врозь. Через минуту в ладони лежал не злой листок, а бумажный самолётик. Кривоватый, сложенный из чужой ненависти, — но самолётик. «Видишь, Веруня? Чем сильнее в него дует, тем выше он лезет». Я запустила его через тёмную комнату. Он клюнул носом и ткнулся в стену под Викторовыми часами. Не полетел, конечно, — из такой бумаги не летают. Но что-то внутри меня от этого крошечного дела чуть распрямилось. Они хотят, чтобы я утонула. А я возьму их слова и сложу из них то, что умеет взлетать. Когда-нибудь. Не сейчас.

Под утро я подошла к окну. Залив лежал чёрный, и над ним низко, тяжело шли тучи с моря — первые осенние, штормовые. По радио на кухне, которое Виктор не выключал даже ночью, диктор сонным голосом читал прогноз: «...в ближайшие сутки ожидается усиление ветра до штормового, в прибрежной зоне волны до двух метров, морякам и рыбакам рекомендуется...»

Я закрыла окно. Но слова уже забрались внутрь и улеглись там холодным комом.

Усиление ветра до штормового. Море просыпалось. И я ещё не знала, я клянусь, что не знала, — но что-то во мне уже сжалось в предчувствии, как сжимается перед бедой всё живое у воды.

Я ещё не догадывалась, что злость — это тоже своего рода спасательный круг. Что именно она, маленькая и твёрдая, не даст мне пойти ко дну в ближайшие недели. И что человек, который научит меня держаться на воде по-настоящему, в эту самую минуту сидит во дворе над разобранным мотоциклом — и даже не подозревает, что станет для меня и спасением, и самой страшной потерей.

Глава 3. Теперь ты моя должница

Следующие две недели город старательно доказывал, что Марк был прав: он меня не отпускал.

Знаешь, как это работает — травля? Не как в кино, где злодей хохочет и крутит ус. Тихо. По капле. Сегодня тебя забыли позвать в общий чат — мелочь. Завтра соседка по парте «случайно» отодвинулась на сантиметр. Послезавтра твою сменку нашли в мусорке, а на вопрос «кто?» все пожали плечами. И ты вроде цела, не побита, не ограблена — а внутри с каждым днём всё холоднее, будто из тебя по капле выпускают тепло, и не поймать тот момент, когда замёрзнешь насовсем. Я ловила себя на том, что говорю шёпотом. Что иду по стеночке. Что радуюсь дождю — потому что под капюшоном не видно лица и можно не держать его ровным.

Я стала вести счёт хорошему, чтоб не утонуть. Хорошее за день: Дина дала наушник. Хорошее за день: математичка не вызвала к доске. Хорошее за день: дошла до дома, и никто не сказал мне ничего про папу. Список был короткий и жалкий, но я цеплялась за него каждый вечер, как за спасательный жилет. Папа однажды сказал, что в шторм главное — не паниковать и держаться за то, что плавает. Я держалась за наушник Дины и за свой короткий список. Этого было мало. Но это хотя бы плавало.

Однажды на биологии Стас — он вообще редко думал — громко спросил у всего класса: «А правда, что у Снегирёвой батя того, утоп?» Без злобы даже, из тупого любопытства. Но класс замер, обернулся на меня, и в этой тишине я кожей почувствовала тридцать взглядов на затылке. Я смотрела в учебник, на схему клетки, и линии плыли. Кристина за первой партой улыбнулась уголком рта — довольная, что её снаряд всё ещё летит, спустя недели, сам собой. А Дина под партой нашла мою руку и сжала. Крепко. Так я и досидела до звонка, не утонув.

Травля не утихла — она стала умнее. Кристина не повторялась. После рыбы был испорченный реферат, который я сдавала на оценку: кто-то влез в мой рюкзак и залил листы кофе, и Тамара Петровна, вздохнув, вклеила мне «два» за неряшливость, не слушая объяснений. Потом был тот волейбольный кадр — фотография, на которой я сижу на полу спортзала, держась за голову, с перекошенным от боли лицом. Кто-то снял её исподтишка, обработал, пририсовал мне рыбий хвост и подпись «русалочка вернулась в море» — и пустил гулять по всем чатам параллели. К обеду её видели все. Надо мной не смеялись в лицо. Хуже: на меня смотрели и отводили глаза, будто я что-то неприличное, на что и глядеть стыдно.

Я научилась быть тенью. Приходила к звонку, уходила первой, ела в углу с Диной, держала камеру в рюкзаке прижатой к спине, чтобы случайно не задела. Я разговаривала вслух только с Диной и иногда — мысленно — с папой. «Видишь, пап, какая у меня теперь жизнь. Зато на море смотрю каждый день, как ты хотел». Получалось горько.

Дома было не лучше, чем в школе, — только тише.

Мама в новом городе ещё больше съёжилась. Устроилась в регистратуру поликлиники, приходила усталая, грела ужин, спрашивала «как в школе?» — и я отвечала «нормально», и она кивала с облегчением, потому что другого ответа ей было не унести. Я видела это облегчение и проглатывала правду обратно. Один раз всё-таки попробовала.

— Мам, — сказала я, когда Виктор вышел на балкон курить. — А если бы тебя где-то не любили. Совсем. Что бы ты делала?

Мама замерла с тарелкой в руках.

— Это про школу? Тебя обижают? — В голосе мелькнул испуг, и я уже почти решилась. Но она добавила, торопливо, будто заговаривая беду: — Вер, ну потерпи, а? Мы только переехали. Виктору тут так важно, чтобы всё было хорошо, без скандалов. Не подведи нас, ладно? Само наладится.

«Не подведи нас». Не «я тебя защищу». Не «расскажи, кто». А «не подведи нас» — то есть не создавай проблем, не порть Виктору его новую правильную жизнь, в которую он так удачно вписал нас с мамой, как вписывают мебель.

— Само наладится, — повторила я. — Конечно, мам.

И ушла к себе, и долго лежала, глядя на тёмный прямоугольник окна с заливом за ним. Раньше, при папе, дом был местом, куда хотелось возвращаться. Теперь он стал ещё одним коридором, где меня терпели. Я была чужой и в школе, и в собственной квартире — и единственным существом во всём городе, кому я, кажется, была хоть зачем-то нужна, оказался хромо́й пёс без ошейника. И его хозяин, которого все боялись.

Дина держалась рядом, и я понимала, чего ей это стоит. Её ведь тоже задевало — за компанию. «Кан и рыба́ дочь», — фыркала свита Кристины им вслед. Дина не реагировала, шла, глядя прямо перед собой, с прямой спиной, и только пальцы у неё иногда белели на ремне сумки. Однажды я не выдержала:

— Ты не обязана со мной сидеть. Тебе же из-за меня достаётся.

— Я и без тебя сидела в этом углу, — спокойно ответила Дина. — Просто раньше одна. Вдвоём, оказывается, теплее. — Она помолчала и добавила: — К тому же я уже знаю, чем это кончается. Им надоест. Главное — дотянуть и не сломаться.

Я цеплялась за эти слова, как за поручень в качающемся автобусе.

А цепляться приходилось всё крепче. Та фотография с рыбьим хвостом не унялась — кто-то залил её в тот самый паблик, «Города разбитых сердец», в комментарии под чужой грустной историей: «вот вам ещё одна утопленница, ха-ха». Её быстро снесли — кажется, сам безымянный автор паблика стёр и забанил шутника, — но осадок остался. Теперь, когда я шла по коридору, за спиной шелестело: «рыба... русалка... та самая». Я перестала поднимать глаза от пола. Считала плитки. Двадцать восемь плиток от двери класса до лестницы — я знала это число лучше формул, которые мы проходили.

Учителя или не видели, или делали вид. Однажды математичка, заметив, как мне в спину прилетел скомканный листок, устало сказала: «Снегирёва, не отвлекайся» — мне, не им. Будто я была виновата уже тем, что в меня бросили. Я давно поняла: взрослым удобнее не замечать. Замечать — значит что-то делать, а делать никто не хотел.

Марка я за эти две недели видела всего несколько раз — мельком, издали. Он редко появлялся в школе; кто-то говорил, что он давно махнул на учёбу рукой, что остался на второй год, что работает грузчиком в порту, что вообще не пойми чем живёт. Про него рассказывали страшное и противоречивое: что он чуть не убил кого-то в драке, что гоняет по ночам на мотоцикле и однажды слетел с моста, что у него отец-алкаш и нет матери. Его боялись. Его имя произносили с особой интонацией — смесью опаски и уважения. «Это Гайдт. С ним не связывайся».

Один раз он попался мне во дворе на рассвете, когда я выносила мусор: сидел на бордюре, кормил с руки своего хромого пса какими-то обрезками и что-то тихо ему говорил. Я замерла — таким он был непохожим на свою страшную славу: просто усталый парень, делящий завтрак с бездомной собакой. Он заметил меня, кивнул, не улыбаясь.

— Как живёшь, синева? — спросил он. И, не дожидаясь ответа, сам же ответил: — Плохо живёшь. По лицу видно.

— Тебя не спросила, — буркнула я и пошла к бакам.

— И правильно, — согласился он мне в спину. — У меня и спрашивать нечего. Я в советах не силен.

Я думала, на этом и всё. Я ошибалась. Просто город ещё не дошёл до главного.

Главное случилось в четверг, в конце сентября, когда уже рано темнело и с залива тянуло мокрым холодом.

Я задержалась после уроков — Тамара Петровна оставила меня переписывать тот самый залитый кофе реферат, и я сидела в пустом классе до темноты, и вышла из школы, когда двор уже опустел и фонари зажглись тускло, через один. Идти домой надо было через гаражи и старую детскую площадку — короткой дорогой, которой я всегда ходила. В тот вечер лучше бы я пошла длинной.

Они ждали меня за гаражами.

Кристина и три её девочки. Я поняла, что ждали именно меня, по тому, как они оживились, увидев меня, как переглянулись. Сердце ухнуло вниз. Я хотела свернуть, обойти, но они уже растеклись полукругом, отрезая дорогу, отесняя меня в тупик между кирпичной стеной гаража и глухим забором — туда, где темно и куда не выходят окна.

— О, рыбка приплыла, — пропела Кристина. В сумерках её красивое лицо казалось маской. — Одна. Без своей корейки. Как неосторожно.

— Что вам надо, — сказала я. Голос всё-таки дрогнул.

— Поговорить, — улыбнулась Кристина. — Ты, кажется, не поняла прошлый раз. Стас вчера опять про тебя спрашивал. При мне. Понимаешь, в чём проблема? Пока ты тут, он на тебя смотрит. А мне не нравится, когда на кого-то смотрят, кроме меня.

— Я в этом не виновата, — сказала я, отступая, пока спина не упёрлась в холодный кирпич.

— Пустите, мне домой. — Я попыталась шагнуть в просвет между ними, но меня тут же толкнули обратно к стене. Та, что повыше, выбила у меня из рук телефон — он отлетел в темноту экраном вниз. — Вас же четверо. Зачем это всё?

— Затем, что можем, — хихикнула одна.

— Затем, что ты до сих пор тут, — поправила Кристина, разглядывая ногти. — Я ведь предупреждала. По-человечески. А ты не услышала. Я не люблю повторять дважды.

— А мне всё равно, виновата ты или нет, — мягко сказала она и кивнула своим.

Дальше всё было быстро и мерзко. Одна толкнула меня в плечо — несильно, проверяя. Я качнулась, ударилась лопатками о стену. Другая дёрнула за рукав, третья что-то сказала про «рыбью вонь», и они засмеялись, обступая ближе, и в этом смехе было то жадное, стайное, отчего у меня застыла кровь. Я прижала к груди рюкзак — там была камера, папина камера, единственное, что у меня осталось, — и это они тоже заметили.

— А что это ты так за сумку держишься? — Кристина протянула руку. — Покажи. Что у тебя там такое ценное?

— Не трогай, — выдохнула я.

— Дай сюда. — Она дёрнула за лямку. Я вцепилась. Кто-то схватил рюкзак с другой стороны, потянул, лямка затрещала, рюкзак раскрылся, и камера — папин тяжёлый «Зенит» — выскользнула и полетела вниз, на асфальт.

Я рванулась за ней с криком, какого сама от себя не ожидала, — диким, чужим. Успела. Поймала у самой земли, прижала к себе, согнувшись, закрывая её собой, как закрывают ребёнка. И в этой согнутой, беззащитной позе ждала, что сейчас меня начнут бить.

И тут двор изменился.

Я не сразу поняла, что произошло. Просто смех оборвался. Просто стало тихо — резко, как будто выключили звук. Я подняла голову.

Он стоял у въезда между гаражами — там, откуда они меня загнали в угол. Высокий, тёмный силуэт на фоне жидкого света фонаря. Руки в карманах. Рядом, прижавшись к ноге, замер хромопёс и глухо, низко рычал. Марк не сказал ни слова. Он просто смотрел на них — медленно, по очереди, на каждую, — и под этим взглядом девочки как-то съёжились, попятись.

— Г-Гайдт, — выговорила одна. — Мы просто...

— Я знаю, что вы просто, — сказал Марк. Голос был тихий, ровный, без угрозы — и от этого ещё страшнее, чем если бы он орал. — Вчетвером на одну. У стенки. В темноте. Знакомая математика. — Он сделал шаг вперёд, и они шагнули назад, все разом, как стайка. — Идите домой. И знаете что? Если я ещё раз увижу её зажатой в угол — хоть кем, хоть тобой, Алфёрова, хоть твоими шавками, — у меня тоже найдётся пара фотографий. С прошлой пятницы. Где вы заливаете чужой шкафчик. Камера-то на въезде висит, дуры. — Он усмехнулся, и в этой усмешке не было ничего весёлого. — Так что бегите. Пока я добрый.

Не знаю, был ли у него правда этот ролик. Я думаю, нет — он блефовал. Но Кристина не стала проверять. Она была умна; она поняла, что связалась не с тем, и что цена внезапно стала слишком высокой.

— Пойдёмте, — бросила она своим, вздёрнув подбородок, пытаясь сохранить лицо. Проходя мимо Марка, она задержалась на секунду и сказала тихо, ядовито: — Защитник нашёлся. Смотри, Гайдт, рыбка-то с гнильцой. Папаша на дне, у самой не все дома. Тебе оно надо?

Марк не ответил. Он даже не посмотрел на неё. Он смотрел на меня — туда, где я скорчилась у стены, прижимая к груди камеру. И Кристина, не дождавшись реакции, фыркнула и ушла, и подружки уткнулись за ней в темноту, и их каблучки ещё долго цокали где-то между домами, всё тише, тише.

Стало тихо. Только пёс перестал рычать и завилял обрубок хвоста.

Марк прошёл в темноту, туда, куда отлетел мой телефон, нагнулся, поднял. Экран треснул паутинкой, от угла. Он повертел его в руках, хмыкнул.

— Жить будет, — сказал он и протянул мне. — В отличие от их совести.

Я взяла телефон непослушными пальцами. Сквозь трещину на заставке всё ещё был виден папа — старое фото, единственное, где он смеётся, в боцманской куртке, на фоне какого-то причала. Я держала это фото на экране весь год. Трещина прошла прямо через причал, не задев лица, и я зачем-то сказала об этом вслух, глупо, сквозь подступающие слёзы:

— Лицо целое. Трещина мимо лица прошла.

Марк посмотрел на экран, потом на меня. Долго. И не сказал ничего вроде «успокойся» или «это же просто телефон». Он понял. Я видела, что понял.

Марк подошёл. Присел передо мной на корточки — так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Вблизи я наконец разглядела его как следует: серые глаза, действительно как залив перед штормом, шрам через бровь, упрямая складка у рта. От него пахло бензином, холодом и почему-то морем.

— Цела? — спросил он.

Я кивнула. Хотя «цела» было не то слово. Внутри всё тряслось.

— Камера целая? — уточнил он, кивнув на «Зенит», который я всё ещё стискивала.

И вот тут — глупо, я знаю, — у меня брызнули слёзы. Не от страха, не от того, что меня чуть не пбили. А от того, что он спросил про камеру. Что он понял — не глядя, не зная ничего, — что эта железная коробка важнее любого синяка. Я закивала и заплакала, размазывая слёзы тыльной стороной ладони, злясь на себя за эти слёзы, и никак не могла остановиться.

Марк не стал меня утешать. Не обнял, не сказал «ну-ну, всё хорошо». Он просто сидел рядом на корточках, молча, и ждал, пока я выплачусь, — и почему-то именно это было правильно. Пёс подобрался ближе и ткнулся мокрым носом мне в руку.

— Его Боцманом зовут, — сказала я сквозь слёзы первое, что пришло в голову, лишь бы не молчать. — Можно? Я его так буду звать. Боцман.

Марк посмотрел на меня странно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.